

Предисловие.....	8
Айтматов Чингиз Торекулович.....	14
Амосов Николай Михайлович.....	19
Андреев Леонид Николаевич.....	20
Базен Эрве.....	30
Боби Жан-Доминик.....	43
Булгаков Михаил Афанасьевич.....	56
Бунин Иван Алексеевич.....	85
Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич.....	88
Волков Кирилл Алексеевич.....	96
Выгодская Эмма Иосифовна.....	106
Высоцкий Владимир Семенович.....	109
Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич.....	112
Гете Иоганн Вольфганг.....	115
Гейне Генрих.....	117
Гоголь Николай Васильевич.....	118
де Гонкур, братья Жюль и Эдмон.....	137
Гончаров Иван Александрович.....	143
Горький (Пешков) Алексей Максимович.....	149
Джером Клапка Джером.....	157
Дик Роман.....	162
Диккенс Чарльз Джон Хаффем.....	164
Достоевская Анна Григорьевна.....	167
Достоевский Федор Михайлович.....	170
Дюма Александр.....	175
Есенин Сергей Александрович.....	186
Ефремов Иван Антонович.....	189
Золя Эмиль.....	206
Короленко Владимир Галактионович.....	220
Кронин Арчибальд Джозеф.....	241
Куприн Александр Иванович.....	246
Леонардо ди сер Пьеро да Винчи.....	256

Липатов Виль Владимирович.....	257
Лиханов Альберт Анатольевич.....	291
Маршалл Алан.....	317
Массаротто Сирил.....	322
Маяковский Владимир Владимирович.....	372
Мопассан Ги де.....	377
Мугуев Хаджи-Мурат Магометович.....	391
Набоков Владимир Владимирович.....	396
Некрасов Николай Алексеевич.....	411
Одоевский Владимир Федорович.....	414
Островский Николай Алексеевич.....	421
Пирогов Николай Иванович.....	427
По Эдгар Аллан.....	428
Пушкин Александр Сергеевич.....	432
Романов Владимир 2.....	439
Саган (Куаре) Франсуаза.....	441
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович.....	448
Сервантес Сааведра Мигель де.....	466
Славин Лев Ицкович.....	474
Суворин Алексей Сергеевич.....	483
Толстой Лев Николаевич.....	484
Тургенев Иван Сергеевич.....	500
Флобер Гюстав.....	537
Цвейг Стефан.....	544
Чехов Антон Павлович.....	563
Черный Саша.....	585
Шолохов Михаил Александрович.....	586
В заключение.....	592
Маковецкий Михаил Леонидович.....	593
Литература.....	597
Приложение. Список врачей-литераторов всех времен и народов.....	598



Выгодская Эмма Иосифовна

Эмма Иосифовна Выгодская (1897–1949) – советская писательница, дочь врача.

Пламя гнева

<...> Эдвард проехал длинной бамбуковой улицей. Десса была пуста. По сторонам стояли одинаковые легкие домики. Крыши из листьев водяной пальмы, развороченные частыми ливнями, протекали во многих местах. К каждому дому был пристроен открытый с трех сторон навес, веранда на ветхих столбиках. В темных контурах бамбука и прутьев на циновках копошились тихие, совершенно голые дети.

Как найти хижину Мамака? Она ничем не отличалась от других нищих хижин.

Эдвард осмотрелся. У одной хижины, прислонясь к бамбуковой подпорке, сидел крестьянин. Кожа у него была светлее обычной, почти светло-золотистая, какая бывает у панкерана, сына китайца и яванки. Красный пояс был намотан на его тощем, почти голом теле. Все ребра, туго обтянутые сухой кожей, можно было пересчитать по поясом. Солнце било человеку в закрытые глаза, он тихонько покачивался из стороны в сторону и что-то бормотал про себя.

Эдвард подошел к крестьянину.

Человек открыл глаза и хотел сделать «сумба».

– Не надо! – сказал Эдвард. Он отвел его руки. – Скажи мне, где дом старого Мамака?

Крестьянин закрыл глаза и снова стал покачиваться из стороны в сторону. Не раскрывая глаз, он протянул руку и показал на третью хижину.

– Вот! – сказал крестьянин.

Эдвард посмотрел на него.

– Что ты тут делаешь? – спросил Эдвард.

– Лапарр!.. Голодный! – сказал человек.

Эдвард дал ему серебряную рупию.

Человек хотел лечь в пыль перед туваном. Эдвард удержал его и быстро пошел дальше. Человек снова сел. За поясом у него был крис. Он положил руку на рукоятку криса, и медленная улыбка поползла у него по лицу. Белый туван дал ему серебряную рупию. У тувана доброе сердце, он хотел рупией откупиться за все, что белые сделали ему. Гудару. За отобранную ниву, за убитых братьев, за погибшую от белой жены... У белого тувана доброе сердце... Гудар пошевеливал своей вычерненную рукоять кинжала. Он улыбался и что-то бормотал, тихонько покачиваясь под солнцем.

В хижине покойного Мамака было полутемно, дверь открыта настежь. Медный пестик стучал в хижине, – значит, там кто-то есть!.. Эдвард заглянул в дверь. В углу, в тени, сидела старуха. Она толкла рис в ступке медленными размеренными движениями.

– Кирьям! – сказал Эдвард.

Старуха подняла лицо. Эдварда поразило неподвижное, застывшее выражение ее лица.

– Где твоя внучка, Кирьям? – спросил Эдвард.

– Где твоя внучка, Кирьям? – мертвым голосом повторила старуха.

Эдвард заглянул в ступку. Ступка была пуста. Старуха толкла пестиком пустоту.

– Что ты делаешь, старая? – спросил Эдвард.

– Что ты делаешь, старая? – тем же мертвым голосом повторила старуха.

– Неужели это латта?.. Эдвард взял пучок травы с циновки, чтобы проверить.

Он кинул пучок в угол. Кирьям тоже схватила с циновки пучок травы и кинула его в угол.

– Да, это была латта – болезнь старух.

Годы унижений, тяжелого труда на затопленном водою поле, под дождем и ливнем, долгие часы у деревянной ступки, у колыбели ребенка, в дыму очага к концу жизни делали из яванской женщины это бездумное, покорное, полудиотское существо. Старуха беззвучно и безвольно повторяла каждое сказанное ей слово, каждое движение тела, кто обращается к ней. Это – латта, болезнь, не известная в Евро-

– Где Аймаг? – еще раз спросил Эдвард.

– Где Аймаг? – повторила старуха.

Кирьям отставила ступку. Она поднялась и тем же мертвым некорным жестом поставила глиняный горшок на очаг. Она высыпала в горшок из ступки несуществующий рис. Потом достала из дальнего угла сухой свернутый лист, развернула его, осторожно взяла из листа щепотку драгоценной соли и бережно спрятала лист обратно в угол. Над очагом сохранились еще медные прутья: когда-то здесь висели и коптились тонкие длинные ломтики динг-динга – буйволова мяса. Старуха сыпала в горшок соль, мешала в нем деревянной ложкой. Муж старухи был убит раджой, старший сын, Уссуп, забран в армию, младший, Ардай, тоже уведен куда-то, внуки разбрелись. Пустой горшок стоял на холодном очаге.

– Прощай, Кирьям! – сказал Эдвард.

– Прощай, Кирьям! – ответила старуха.

Эдвард пошел искать дьякусу, деревенского старосту. <...>

Высоцкий Владимир Семенович

Владимир Семенович Высоцкий (1938–1980) – советский поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР.



Песня о госпитале

Жил я с матерью и батей
на Арбате, – век бы так.
А теперь я в медсанбате
на кровати, весь в бинтах.

Что нам слава, что нам Клава –
Медсестра и белый свет!
Номер мой сосед, что справа,
Ты, что слева, – еще нет.

И однажды – как в угаре –
Тот сосед, что слева, мне
Варуг сказал: – Послушай, парень,
У тебя ноги-то нет.

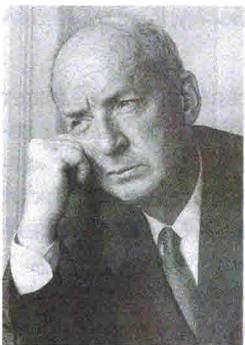
Как же так! Неправда, братцы!
Он, наверно, пошутил?
Мы отрежем только пальцы, –
Ты мне доктор говорил.

Но сосед, который слева,
Все смеялся, все шутил.
Даже если ночью бредил –
Все про ногу говорил,

Издевался: мол, не встанешь!
Не увидишь, мол, жены!
Поглядел бы ты, товарищ,
На себя со стороны.

Если б был я не калека
И слезал с кровати вниз,
Я б тому, который слева,
Просто глотку перегрыз!

Умолял сестричку Клаву
Показать, какой я стал.
Был бы жив сосед, что справа, –
Он бы правду мне сказал...



Набоков Владимир Владимирович (Владимир Сирин)

Владимир Владимирович Набоков (1899–1977) – русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог.

Ужас

Со мной бывало следующее: просидев за письменным столом большую часть ночи, когда ночь тяжело идет еще в гору, – и очнувшись от работы как раз в то мгновение, когда ночь дошла до вершины и вот скатится, перевалит в легкий туман рассвета, – я вставала и в озябший, опустошенный, зажигал в спальне свет – и вдруг видел себя в зеркале. И было так: за время глубокой работы я отвык от себя, и, как после разлуки, при встрече с очень знакомым человеком, течение нескольких пустых, ясных, бесчувственных минут внешнего совсем по-новому, хотя знаешь, что сейчас пройдет холода и таинственной анестезии, и облик человека, на которого смотришь, снова оживет, потеплеет, займет свое обычное место и снова станет таким знакомым, что уж никаким усилием воли не вернешь в него летного чувства чуждости, – вот точно так я глядел на свое отражение в зеркале и не узнавал себя. И чем пристальнее я рассматривал свое лицо, – чужие, немигающие глаза, блеск волосков на скуле, складку вдоль носа, – чем настойчивее я говорил себе: вот это я, имярен, – тем непонятнее мне становилось, почему именно это – я, и тем труднее мне было отождествить с каким-то непонятым «я» лицо, отраженное в зеркале. Когда я рассказывал об этом, мне справедливо замечали, что так можно дойти до чертиков. Действительно, раза два я так долго всматривался поздно ночью в свое отражение, что мне становилось так жутко и я поспешно тушил свет. А наутро пока брился, мне уже в голову не приходило удивляться своему отражению.

Бывало со мной и другое: ночью, лежа в постели, я вдруг вспоминал, что смертен. Тогда в моей душе происходило то же, что проис-

в огромном театре, когда внезапно потухает свет, и в налетевшей темноте кто-то резко вскрикивает, и затем вскрикивает несколько гололоу, – слепая буря, темный панический шум растет, – и вдруг стихает, и начинается снова, и беспечно продолжается представление. Так, в темноте, душа моя задохнется на миг, лежу навзничь, широко открыв глаза, и стараюсь изо всех сил побороть страх, осмыслить смерть, подумать о жизни по-житейски, без помощи религий и философий. И потом говорю себе, что смерть еще далека, что успеешь ее продумать, – а сама мысль, что все равно никогда не продумаешь, и опять в темноте, на пороге сознания, где мечутся живые, теплые мысли о милых земных вещах, проносится крик – и внезапно стихает, когда наконец, повернувшись на бок, начинаешь думать о другом.

Почему же, полагаю, что все это – и недоумение перед ночным зеркалом, и паническое предвкушение смерти, – ощущения, знакомые многим, и если я так останавливаюсь на них, то потому только, что в этих ощущениях есть частица того высшего ужаса, который мне однажды довелось испытать. Высший ужас... особенный ужас... я ищу какое-то определение, но на складе готовых слов нет ничего подходящего. Напрасно примеряю слова, ни одно из них мне не впору.

Я был я счастливо. Была у меня подруга. Помню, как меня измучила первая наша разлука, – я по делу уезжал за границу, – и как потом она встречала меня на вокзале – стояла на перроне, как раз в клетке желтого света, в пыльном снопе солнца, пробившего стеклянный потолок, и медленно поворачивала лицо по мере того, как проползали вагоны. С нею мне было всегда легко и покойно. Только однажды... Да, вот тут я опять чувствую, какое неуклюжее орудие – слово. Не удается мне объяснить... Это такой пустяк, это так мимолетно: вот как будто одни в ее комнате, я пишу, она штопает на ложе шелковый мешочек, низко наклонив голову, и розовеет ухо, наполовину прикрытое светлой прядью, и трогательно блестит мелкий жемчуг вокруг рта, и нежная щека кажется впалой, оттого что она так старательно прижимает губы. Вдруг, ни с того ни с сего, мне делается страшно от ее молчания. Это куда страшнее того, что я не сразу почувствовал себя на вокзале. Мне страшно, что со мной в комнате другой человек, и страшно самое понятие: другой человек. Я понимаю, отчего существуют близкие: близкие не узнают своих близких... Но она поднимает голову, и, широко, всеми чертами лица, улыбается мне, – и вот от моего странного страха уже нет и следа. Повторяю, это случилось всего только однажды, и это тогда мне показалось глупостью нервов – я забыл, что в оди-

нокую ночь, перед зеркалом, мне приходилось испытывать нечто очень похожее.

Прожили мы вместе около трех лет. Я знаю, что многие не могут понять нашу связь. Недоумевали, чем могла привлечь и удержать меня эта простенькая женщина, но, Боже мой, как я любил ее неприметную милость, веселость, ласковость, птичье трепыхание ее души. Ведь дело в том, что как раз ее тихая простота меня охраняла: все в ней было ей по-житейски ясно, и мне даже иногда казалось, что она не только знает, что ждет нас после смерти, – и мы о смерти ни разу не говорили. В конце третьего года я опять принужден был уезжать на довольно долгий срок. Накануне моего отъезда мы почему-то поехали в оперу. Когда, сидя на малиновом диванчике в темноватой, таинственной аванложе, она снимала огромные, серые ботинки, вытаскивая из них тонкие, шелковые ноги, я подумал о тех очень легких бабочках, которые вылупляются из громоздких, мохнатых коконов. И было мне грустно, когда мы с ней нагибались над розовой бездной залы и ждали, когда поднимется плотный, выцветший занавес в бледных, золотистых тонах, в сценах различных оперных сцен. И голым локтем она чуть не свиснула с барьера свой маленький перламутровый бинокль.

И вот, когда уже все расселись и оркестр, вобрав воздух, начал готовиться грянуть, – вдруг в огромном розовом театре потухли все лампочки, – и налетела такая густая тьма, что мне показалось, что я ослеп. И в этой тьме все сразу задвигалось, зашумело, и панический трепет перешел в женские восклицания, и оттого что отдельные женские голоса очень громко требовали спокойствия, – крики стали становиться взволнованнее. Я рассмеялся, начал ей что-то говорить, – и почувствовал, что она вцепилась мне в руку, молча мнет мне манжету. И, когда свет снова наполнил театр, я увидел, что она сидит вся бледная, стиснув зубы. Я помог ей выйти из ложи, – она качала головой, с виноватой улыбкой порицая свой ребяческий испуг, – и потом она плакалась, попросилась домой. И только в карете она успокоилась, прижимая комочком платок к сияющим глазам, стала мне объяснять, как ей грустно, что завтра я уезжаю, и как было бы нехорошо мне в последний вечер провести на людях, в опере.

А через двенадцать часов я уже сидел в вагоне, глядел в окно на туманное, зимнее небо, на воспаленный глазок солнца, не отрываясь от поезда, на белые поля, которые без конца раскрывались, как в полинский лебяжий веер. В большом нерусском городе, куда я три недели спустя приехал, и довелось мне высший ужас испытать.

Началось с того, что я дурно спал три ночи сряду, а четвертую не спал вовсе. За последние годы я отвык от одиночества, и теперь эти одинокие ночи были для меня острым, безвыходным страданием. В одну из этих ночей я видел ее во сне: было много солнца, и она сидела на стуле в одной кружевной сорочке и до упаду хохотала, не могла остановиться. И вспомнил я этот сон совсем случайно, проходя мимо книжного магазина, – и когда вспомнил, то почувствовал, как все то, что было во сне весело – ее кружева, закинутае лицо, смех, – теперь мне было страшно, – и никак не мог себе объяснить, почему мне так неприятен, так отвратителен этот кружевной, хохочущий сон. Я много читал и много курил, и все у меня было чувство, что мне нужно, как в театре, держать себя в руках.

Ночью, раздеваясь, я нарочно посвистывал и напевал, но вдруг мне казался трусливый ребенок, вздрагивал от легкого шума за спиной, от скрипа поджака, соскользнувшего со стула.

На пятый день, рано утром после бессонной ночи, я вышел пройтись. То, что буду рассказывать дальше, мне хотелось бы напечатать курсивом, – даже нет, не курсивом, а каким-то новым, невиданным шрифтом. Оттого, что я ночью не спал, во мне была какая-то необыкновенно восприимчивая пустота. Мне казалось, что голова у меня стеклянная, и легкая ломота в ногах тоже казалась стеклянной. И сразу, как только я вышел на улицу... Да, вот теперь я нашел слова. Я спешу написать, пока они не потускнели. Когда я вышел на улицу, я внезапно увидел мир таким, каков он есть на самом деле. Ведь мы утешали себя, что мир не может без нас существовать, что он существует, по крайней мере, поскольку мы существуем, поскольку мы можем себе представить его. Смерть, бесконечность, планеты – все это страшно именно потому, что вне нашего представления. И вот, в тот страшный день, когда, истощенный бессонницей, я вышел на улицу, в случайном городе, увидел дома, деревья, автомобили, людей, – душа моя внезапно отвыкла воспринимать их как нечто привычное, человеческое. Моя связь с миром порвалась, я был сам по себе, и мир был сам по себе, – и в этом мире смысла не было. Я увидел его таким, каков он есть на самом деле: я глядел на дома, и они утратили для меня свой привычный смысл: все то, о чем мы можем думать, глядя на дом... архитектура... какой-то стиль... внутри комнаты такие-то... некрасивый дом... удобная мебель... – все это скользнуло прочь, как сон, и остался только бессмысленный облик, – как получается бессмысленный звук, если долго повторять, вникая в него, одно и то же обыкновеннейшее слово. И с

деревьями было то же самое, и то же самое было с людьми. И как страшно человеческое лицо. Все – анатомия, разность назначения ног, рук, одежды, – полетело к черту, и передо мной было что – даже не существо, ибо существо тоже человеческое понятие – именно нечто, движущееся мимо. Напрасно я старался пережить ужас, напрасно вспоминал, как однажды, в детстве, я проснулся прижав затылок к низкой подушке, поднял глаза и увидел спиравшуюся над решеткой изголовья наклоняется ко мне непонятная – безносое, с черными, гусарскими усиками под самыми глазами, губами на лбу – и, вскрикнув, привстал, и мгновенно черные усики зались бровями, а все лицо – лицом моей матери, которое я никогда не видел в перевернутом, непривычном виде. И теперь я тоже стараюсь привстать, дабы зримое приняло вновь свое обычное положение и это не удавалось мне. Напротив, чем пристальнее я вглядывался в людей, тем бессмысленнее становился их облик. Охваченный ужасом я искал какой-нибудь точки опоры, исходной мысли, чтобы, не зная ее, построить снова простой, естественный, привычный мир, который мы знаем. Я, кажется, сидел на скамейке в каком-то парке. Действий моих в точности не помню. Как человеку, с которым случился на улице сердечный припадок, нет дела до прохожих, до солнца, до красоты старинного собора, – а есть в нем только всепоглощающее желание дышать, – так и у меня было только одно желание: не упасть с ума. Думаю, что никто никогда так не видел мира, как я видел его в те минуты. Страшная нагота, страшная бессмыслица. Рядом валялась собака обнюхивала снег. Я мучительно старался понять, что такое «баба», – и оттого, что я так пристально на нее смотрел, она доверчиво подползла ко мне – и стало мне до того тошно, что я встал со скамейки и пошел прочь. И тогда ужас достиг высшей точки. Я уже не борюсь. Я уже был не человек, а голое зрение, бесцельный взгляд, движущийся в бессмысленном мире. Вид человеческого лица возбуждал во мне желание кричать.

Каким-то образом я оказался опять у входа моей гостиницы. И тут ко мне подошел кто-то и назвал меня по имени. Он ткнул меня в руку свернутый лоскуток. Бумажку эту я машинально развернул. И сразу весь мой ужас прошел, я мгновенно о нем забыл, все стало опять обыкновенным и незаметным: гостиница, переменные отблески в стеклах вращающихся дверей, знакомое лицо швейцара, показавшего мне телеграмму. Я стоял посередине широкой прихожей. Провидец господин, с трубкой, в клетчатом картузе, толкнул меня и важно нази-

вал. Я чувствовал удивление и большую, невыносимую, но совсем незаметную, совсем человеческую боль. В телеграмме сообщалось, что она находится при смерти.

И пока я ехал к ней, и пока сидел у ее кровати, мне и в голову не приходило рассуждать о том, что такое жизнь, что такое смерть, ужасная жизни и смерти. Женщина, которую я любил больше всего на свете, умирала. Я видел и чувствовал только это.

Она меня не узнала, когда я толкнулся коленом о край постели, на которой она лежала, под огромными одеялами, на огромных подушках – сама маленькая, с волосами, откинутыми со лба, отчего стал заметен по окату виска тонкий шрам, который она всегда скрывала под широкой волной прически. Она меня не узнала, но я чувствовал по ее губам, раза два легко приподнявшей уголок ее губ, что она в своем предсмертном бреде, в предсмертном воображении видит меня, так что передо мной стояли двое, – я сам, которого она не видела, и двойник мой, который был невидим мне. И потом я остался один, – мой двойник умер вместе с нею.

Ее смерть спасла меня от безумия. Простое человеческое горе так изменило мою жизнь, что для других чувств места больше не было. Когда время идет, ее образ становится в моей душе все совершеннее и все неизменнее, – и мелочи прошлого, живые, маленькие воспоминания незаметно для меня потухают, как потухают, один за другим, когда по два, по три сразу, то здесь, то там, огоньки в окнах засыпанного дома. И я знаю, что обречен, что пережитый однажды ужас, всемогущая боязнь существования когда-нибудь снова охватит меня, и тогда мне спасения не будет.

Мертвый человек

Человеку, кто много занимается своей душой, нередко доводится присутствовать при грустном, но любопытном явлении, а именно при том, как вдруг умирает пустяжное воспоминание, по случайному поводу вызванное из той отдаленной скромной богадельни, где дожидало оно свой незаметный век. Оно мигает, оно еще пульсирует и выдыхает, – но тут же на ваших глазах, разок вздохнув, протягивая ножки, не выдержав слишком быстрого перехода в резкий свет наступающего. Отныне остается в распоряжении вашем лишь отражение его, краткий пересказ, лишенный, увы, обаятельной убедительности